

Я часто спрашиваю людей: «Что вы себе представляете, когда слышите слово „человек“?» Люди отвечают по-разному, иногда очень оригинально, но я забываю их ответы, потому что задаю свой вопрос исключительно для того, чтобы услышать от кого-нибудь мой собственный вариант ответа. Пока я не услышал его ни разу.

Когда я слышу слово «человек», перед глазами у меня возникает рисунок тушью на белой бумаге — элементарный, в два коротких росчерка: большой треугольный нос, а над ним чубчик.

Сообщают в новостях: там-то пострадало пять человек, — и я сперва вижу скопление нарисованных носов и чубчиков, а потом, немного стыдясь, заученно напоминаю себе, что у каждого из этих «чубчиков» уникальная судьба и «неповторимый внутренний мир».

Что взять с человека, который, услышав слово «Россия», видит не просторы, а две толстые буквы «с», при слове «родина» невольно воображает распостёршую объятия тётю, у которой вместо головы кремлёвская башня со звездой, а произнося слово «душа», никак не может избавиться от образа плотной подушки, сделанной из мяса?

При этом душу я стремлюсь каким-то образом спасти, родину — любить, а человека — уважать...

Таково предисловие — быть может, и лишнее, — к рассказу о Сене, моём навеки молодом друге, образ которого, с годами сильно обедневший на детали, но в чём-то главном незыблемый, с недавних пор возникает в моей голове следом за носом и чубчиком, когда я слышу слово «человек».

Пожалуй, мне нетрудно было бы разыскать людей, которые знали Сению гораздо ближе, чем я, и расспросить их: о чём он мечтал? что думал о жизни? о смерти? о Боге? Но я этого не делаю. Наверное, боюсь испортить лишними штрихами картину, которая видится мне вполне законченной.

Я видел Сению всего один раз. Вернее, видел много раз в течение нескольких часов одного дня. Было мне тогда двенадцать лет.

Я приехал с родителями на день рождения папиного приятеля. В квартире приятеля нашлась гитара, и папа попросил меня что-нибудь исполнить. Я знал, чем это грозит. Сначала я спою что-нибудь из «Бременских музыкантов», потом из русского

рока, потом из «Битлз» (я их тогда обожал), а потом папа скажет: «Я знаю, ты это не любишь. Но я прошу: одну, мою любимую (ты знаешь какую)! И всё! Больше я тебя ни о чём просить не буду». Я начну злиться на папу и наотрез отказываться, причём совершенно искренне, без всякого кокетства; дело в том, что, исполняя собственные песни на людях, я каждый раз испытывал такой стыд, словно присутствующая публика застала меня за каким-то непотребным занятием, для которого мне ещё и понадобилось раздеться. Но папа, услышав мой отказ, не отступит от меня, а лишь переменит тактику — заговорит со мной как со взрослым (немного демонстративно, но без гордости за то, что я могу поддержать такой разговор). «Понимаешь, — скажет он, — раз ты пишешь песни, ты уже не совсем простой человек. Ты художник, артист. А артисту, хочет он того или нет, нужна обратная связь. Нельзя писать в стол. Это неуважение к Господу Богу, который всем этим тебя наградил». (Тут он покажет умным указательным пальцем на потолок.) Я отвечу папе, что на данный момент мне совершенно не нравится то, что я пишу; вот напишу что-нибудь, на мой взгляд, стоящее — тогда сыграю с удовольствием. На это папа скажет, что об этом уже не мне судить, что творение имеет свойство отделяться от своего творца и жить собственной жизнью. Все эти разговоры до крайности раздуют интерес аудитории к моим песням, все наперебой начнут вторить папиным уговорам, и, чтобы не показаться похожим на ломающуюся девчонку, я, наконец, соглашусь в очередной раз испытать позор исполнения собственных песен.

Неизбежность описанного сценария почему-то вызвала во мне в тот раз особенную досаду. Я решил, что уж лучше уподоблюсь этой самой девчонке, чем снова попадусь на папины уловки. Я спел «Луч солнца золотого», «Когда твоя девушка больна» и пару песен «Битлз», а затем убедительным шахматным жестом отставил гитару, встал и ушёл на кухню якобы попить, а на самом деле — подождать, пока взрослые обо мне забудут. Я не догадывался, что моя отлучка будет папе только на руку. Пока я отсутствовал, он умудрился полушёпотом, при помощи предельно сжатых формулировок, заинтриговать компанию моим

творчеством, и когда я вернулся к столу — все стали дружно меня упрашивать:

— Спой папину любимую.

Сам папа, довольный, что сразу переложил уговоры на плечи других, старался сохранять самый невозмутимый вид. Я смерил его взглядом, в котором, наверное, извивалось нечто недалёкое от лютой ненависти. Папа только и мог, что тихо и немного укоризненно сказать:

— Будет у тебя собственный сын — может, ты меня поймёшь.

Я сам не заметил, как снова оказался сидящим на стуле с гитарой в руках. Я обречённо провёл по открытым струнам — и при этом одиноком пустом аккорде словно лишился костей от жалости к себе самому. Я ссутулился, обмяк, глаза мои затуманились слезами.

Тут и появился Сеня. Точнее, появился он на дне рождения уже давно, но тут он впервые появился для меня. Насколько я помню, до этого он непрерывно ухаживал за гостями и хозяевами, стараясь предупредить все их желания: накладывал салаты, наполнял бокалы и рюмки. Он очень внимательно слушал, как я играю и пою, а в перерывах между песнями давал краткие, но при этом настолько высокие оценки моему таланту, что папа вынужден был его немного сдерживать.

— Гений, — констатировал Сеня.

— Ну уж гений... — корректировал папа. — Упаси меня Господь быть отцом гения.

— Просто нет слов, — говорил Сеня с ударением на «просто», когда я заканчивал очередную песню. — Виртуоз.

— Ну, не виртуоз, конечно, — снова поправлял отец, — но... для его возраста это весьма крепкий уровень.

Сеня заметно выделялся среди людей, бывших на празднике. Выделялся уже хотя бы возрастом. Всех нас можно было условно поделить на две возрастные группы: взрослые (кому за сорок) и дети, к которым относились я и две дочки именинника. Сене же было от двадцати до двадцати пяти (я тогда плохо определял возраст), то есть он был среди нас единственным так называемым «молодым человеком». Но ему не было с нами скучно. Когда старшие начинали говорить о чём-то совсем взрослому, что было невозможно понять ребёнку, Сеня всё понимал и полноценно участвовал в беседе. В то же время он не стеснялся сознаться, что чего-то не знает, и взрослым людям это нравилось. Высказывая умные мысли, мой папа глядел прежде всего на Сеню, и тот сосредоточенно кивал, слушая отца с неподдельным вниманием и уважением, но при этом не забывая ловить за пальцы приятелевых дочек, которые всё время пытались исподтишка пощекотать его и заглушали своим смехом папину речь.

Мне запомнилось, что у Сени были недлинные тёмные волосы, которые довольно аккуратно лежали сами собой, без помощи расчёски. Он был широкоплеч, ростом выше среднего. Лицо его было по-настоящему красиво и при этом было очень простым. На этом лице не отпечаталось сознание собственной красоты, которое делает красоту подчёркнутой, требующей любования и комплимента. Поэтому я сомневаюсь, чтобы Сеня хоть раз за свою короткую жизнь услышал от кого-нибудь: «Красивый ты всё-таки парень, Сеня».

Ещё я запомнил, что на нём были чёрные наглаженные брюки и чёрная же шелковая рубашка. Она выбивалась на боках из-под ремня небольшими облачками, и от этого его фигура казалась ещё стройнее. Верхняя пуговица рубашки была расстёгнута. Эта деталь всегда казалась мне признаком поэта (когда я замечал её, у меня в голове коротко звучало слово «Сергей» — возможно, из-за аналогии с портретом Есенина в моей любимой книжке); при этом было совершенно очевидно, что стихов Сеня не пишет. Даже не могу сказать, почему это было так очевидно.

Я продолжаю вспоминать: Сеня сразу понравился мне, но понравился не так, как обычно нравились люди. Обычно меня привлекали чудаки, оригиналы, люди едко ироничные. Я сразу начинал им немного завидовать и мечтал быть на них похожим: мне хотелось иметь такие же наручные часы, ремни, записные книжки, как у этих людей. Сеня не казался мне чудачком и оригиналом, я не хотел быть на него похожим, и ремень на его брюках не производил на меня никакого впечатления, и всё же этот человек понравился мне. Не так, чтобы потом думать о нём; просто — понравился.

Да: если бы я всё-таки взялся расспрашивать о Сене людей, знавших его лучше, чем я, и прежде всех моих философских вопросов я должен был бы задать такой: кем Сеня приходился имениннику? Я ведь не знаю о нём даже этого...

Итак, в моих глазах задрожали слёзы. Взрослые принялись меня успокаивать. Папа сидел растерянный. Мама глядела на него, как бы говоря: «Убила бы...»

— Ну-ка, послушай, как я умею играть, — сказал вдруг Сеня и взял у меня гитару.

Он зажал указательным пальцем самую тонкую струну на первом ладу (палец — крупный, широкий — закрыл собою почти весь лад), затем дёрнул эту струну и быстро повёл палец вверх по грифу. Звук побежал ввысь. Доведя его до самой последней высоты, Сеня звучно щёлкнул по деке — и звук оборвался.

— «Смерть клопа», — сообщил он название композиции.

Все засмеялись, и я тоже.

— Я ещё одну знаю. «Прощай, пароход».

Теперь, ничего не зажимая на грифе, Сеня про-
сто дёрнул самую низкую басовую струну и с ка-
менным лицом помахал в неизведанную даль рукой.
— Вот и всё, — сказал Сеня и передал мне гитару. —
А больше я ничего играть не умею.

Мой отец смеялся с особенным увлечением,
словно стремясь поскорее заполнить этим смехом
атмосферу неудобства, возникшую из-за моих слёз.
Неожиданно мне стало жалко отца, и я предложил
публике послушать мои песни.

Первая же из них произвела звенящий фурор.
— Я же говорю: гений, — сказал Сеня, ударив ла-
доными по коленям.

Я спел ещё и ещё. Радовались и взрослые, и
дочки именинника, одна из которых, моя ровес-
ница, в какой-то момент стала смотреть на меня
даже задумчиво. Но больше всех радовался Сеня.

Я уже жалел, что своих песен у меня так мало, —
так приятно было их играть. Я даже отважился
под конец исполнить одну недописанную песню
и вынужден был на ходу придумывать к ней ду-
рацкие слова.

Если мне не изменяет память, Сеня, как только
я отложил гитару, стал совершенно серьёзно убе-
ждать моих родителей в том, что эти песни «дол-
жны услышать миллионы». Отец, как ни странно,
не стал на этот раз обрамлять его похвалы скеп-
тическими комментариями. Так же серьёзно он
заговорил с Сеней о том, что помещать ребёнка в
мир шоу-бизнеса, полный коварства и грязи, было
бы со стороны родителей поступком негуманным.
— Вот вырастет — пускай сам сделает выбор.

Последний эпизод с участием Сени, который
остался в моей памяти, был такой.

На лестничной клетке — я и Сеня, больше ни-
кого. По-моему, это он сам позвал меня в подъезд.
По-моему, он с сигаретой. (Думаю, впрочем, что он
был из тех курильщиков, которым ничего не стоит
отказаться от сигарет.) Он сидит на корточках
прямо передо мной, смотрит мне в глаза и просит
рассказать, как я увлёкся гитарой. Я рассказываю,
что услышал «Битлз» и стал подбирать аккорды
с кассет. Сеня спрашивает, какую музыку я ещё
люблю. Кажется, я слишком долго думаю, что
ответить, больше размышляя, зачем он всё это
спрашивает, и Сеня пробует мне помочь:

— Я так понял, ты вообще любишь рок-н-ролл?

Я киваю:

— В принципе, да.

— Ты потрясающе играешь, — говорит Сеня. —
И поёшь просто суперски. У меня друзья тоже
играют. Ну как играют — что-то там тренькают,
выучили пару мелодий и перед девчонками вы-
пендриваются.

Последние слова Сеня говорит с тёплой за-
думчивой улыбкой. Кажется, он немного пьян;
он вспомнил своих смешных друзей и подумал о
том, как хорошо, что они есть.

— Я им теперь скажу, — продолжает Сеня, улыба-
ясь. — «Есть у меня один знакомый парень, кото-
рому двенадцать лет, он вам так сыграет, что вам
после этого стыдно будет гитару в руки брать».
Дай пять, — заканчивает Сеня, жмёт мою руку, и
мы идём в дом.

Как мы уходили из гостей, что сказал Сеня мне
на прощанье — я уже не помню. Тот день, хоть и
радостный, был всего лишь одним из многих, он
не казался настолько важным, чтобы запоминать
его во всех подробностях.

Кажется, в автобусе родители немного пого-
ворили о Сене. Оба отметили, что редко сейчас
встретишь человека его возраста с таким ясным и
открытым взглядом, а с незагаженной речью и
здоровым уважением к старшим.

— Нашлась бы ещё девушка, которая всё это оце-
нит, — сказала мама не без доли грустного сомне-
ния в том, что такая девушка найдётся.

После этого Сеня напомнил мне о себе всего
два раза.

Сначала тот самый приятель, который справлял
день рождения, зашёл к нам в гости и передал мне
от него подарок. Это были две кассеты, помещён-
ные в один необычно вытянутый подкассетник.
«Rock-n-roll 50-60s». Я в тот же день прослушал
эти кассеты. Музыка мне не очень понравилась:
какие-то малоизвестные имена, однообразные
рок-н-рольные ходы, навязчивый танцевальный
задор, мало гитары, много клавиш и духовых.
Эти песни не выдерживали никакого сравнения
с «Битлз». Но из уважения к внимательному Сене
я прослушал кассеты ещё пару раз.

А несколько месяцев спустя я узнал, что Сеня
погиб. Если не ошибаюсь, он перегонял для дру-
га иномарку из какой-то западноевропейской
страны; то ли не справился с управлением, то ли
уснул за рулём.

Я не сильно переживал из-за его смерти. Есте-
ственный эгоизм благополучного юноши стоял
в те дни прочной стеной между моим сердцем и
чужими трагедиями. Сенина смерть показалась
мне событием довольно обыкновенным, я бы
даже сказал — нормальным. Будто не разорвались
в момент катастрофы его внутренние органы, не
сокрушились кости — а просто Сеня сделал шаг
отсюда туда. Казалось, так же легко он может
сделать шаг обратно.

И я забыл о нём надолго, а вспомнил лишь
несколько месяцев назад, то есть не менее сем-
надцати лет спустя после его смерти.

Я сидел на скамейке у городской площади, на-
полненной людьми по случаю выходного дня.
Все эти люди чем-то занимались (ели, смеялись,
ударяли пластмассовым молотом по «наковальне»
с электронным датчиком, показывающим силу
удара) или куда-то шли, а я неподвижно наблюдал
за ними.

Самозабвение, с которым большинство представителей человечества отдаётся потоку жизни, давно занимает мои мысли. Сам я утратил это самозабвение, как невинность, лет, наверное, в семнадцать. Я начал смотреть на мир и на себя самого сверху, со стороны, из засады. Долгое время это казалось мне несомненным достоинством, привилегией творческого человека. Однако постепенно данная «привилегия», кажется, выродилась в совершенное неуважение к жизни. Я перестал верить в важность поступка и необходимость труда, я перестал воспринимать красоту как простое чудо, разлитое в жизни; красота сделалась для меня предметом мучительного завоевания. Едва заплакав о чём-то, я начинаю думать о том, как я при этом выгляжу, и слёзы мои мгновенно высыхают. Я не могу забыть себя, даже когда этого требует элементарная порядочность.

Самое странное—и где-то страшное, что я уже ни на что никогда не променяю свою засаду. По сути, эта засада—единственное, что у меня на сегодня есть. По сути, засада—это я сам. Выйти из неё означает для меня лишь одно—стать одним из них.

Я взглянул на кишашую массу горожан и сказал себе: «Нет. На это я не соглашусь никогда».

Мне стало страшно от того, насколько глубоко я стал презирать людей. Мне захотелось, чтобы нашёлся кто-нибудь, кто сможет, наконец, примирить меня с ними, и тут из темноты моей памяти неожиданно и как будто беспричинно вышел Сеня. Он появился в своей блестящей рубашке с расстёгнутой верхней пуговицей—поэт без стихов, гений без намёка на талант.

Я так ясно осознал, что этот человек жил на земле—брал из моих рук гитару, говорил со мной, глядя на меня своими внимательными глазами, заходил в музыкальный магазин, чтобы купить для меня кассеты,—что несколько секунд я пребывал в полной уверенности: с меня в жизни хватит и того счастья, что я его знал.

Вряд ли эта уверенность будет понятна кому-то ещё; я и сам вижу, что мой скромный рассказ о Сене не даёт для неё веских оснований, да и пребывал я в ней, как уже было сказано, всего несколько секунд. Но с этой уверенностью мне было так хорошо, словно вдруг исчезла необходимость за что-либо бороться, словно теперь я мог просто жить.